

Весь Эдгар По

Человек толпы

*Ce grand malheur de ne pouvoir
etre seul!*

La Bruyere¹

Очень хорошо сказано об одной немецкой книге: *«er lasst sich nicht lesen»* (она не легко читается). Так точно есть тайны, которые не узнаются. Люди умирают ежедневно и на смертном одре ломают руки перед своим духовником, жалобно смотря ему в глаза; они умирают с отчаянием в сердце, с конвульсиями в горле; причиной этого — страшные тайны, которых они не в состоянии открыть. Да, иногда совесть берет на себя тяжелое бремя, тяжелое по тому ужасу, которое оно заключает в себе, так что остается только унести его с собой в могилу; и таким образом, часто, сущность важного преступления остается неразглашенной.

Недавно, в осенний вечер, я сидел в одной из лучших лондонских кофеен, у огромного окна со

¹ Ужасное несчастье — не иметь возможности остаться наедине с самим собой! Лабрюйер (франц.)

сводом. Несколько месяцев перед тем я был болен, а потом стал понемногу поправляться. Силы мои постепенно возвращались, и потому я был в прекрасном расположении духа. На душе у меня было как-то особенно легко и весело; это была одна из тех минут, когда человек способен принимать все горячо, способен сильно желать чего-нибудь; когда мрак с духовного зрения спадает, и ум, наэлектризованный, превосходит настолько себя в обыкновенном своем состоянии, насколько живой, светлый рассудок Лейбница превосходит пошлую и бедную риторику какого-нибудь педанта. Свободно дышать — было для меня наслаждением; я даже находил истинное удовольствие во многих ощущениях, обыкновенно бывающих источником боли. Во всем принимал я спокойное, но живое участие. С сигарой во рту и с газетой на коленях, я провел очень приятно все послеобеденное время до вечера: читал объявления, наблюдал за разнокалиберным обществом в кофейне и смотрел из окна на улицу.

Улица эта одна из главных и самых многолюдных во всем городе. Целый день народ на ней толпится. С наступлением сумерек, толпа мгновенно увеличилась. Стали зажигать фонари, и народу накоплялось все более и более. Мне до сих пор никогда не случалось быть в такой час вечера на этой улице, и потому взволнованное море

человеческих голов заняло меня, со всею прелестью нового впечатления. Я бросил всякие попечения о том, что происходило в самой кофейне, и вполне предался наблюданию уличных сцен.

Сначала наблюдения мои были отвлеченные, общие. Я смотрел на целые массы прохожих вместе, и думал о том, в каких отношениях каждый из них находится к другому. Скоро, однако, меня стали занимать подробности, и я, с минуту, внимательно смотрел на бесчисленное множество разнообразных лиц, выражений, одежд и походок.

Большую часть, проходящие имели вид самодовольный и, вместе с тем, деловой; они как будто думали только о том, как бы скорее пробраться сквозь толпы. Брови у них были нахмуренные, и глаза бегали с живостью; когда им вдруг кто-нибудь не давал дороги, они не показывали нетерпения, а только поправляли на себе платье и продолжали свой путь. Другой разряд, тоже довольно многочисленный, был не менее оригинален. У людей этого класса было какое-то постоянное беспокойство в движениях и лица красные; они разговаривали сами с собой, и жестам не было конца. Когда толпа вдруг останавливалась и мешала им идти дальше, они переставали бормотать себе под нос, но зато удваивали жесты. Минуты, когда им можно будет продолжать свой путь, они ожидали спокойно, с

бессмысленной улыбкой на устах. Если кому-нибудь случалось их толкнуть, то они ему щедро платили за это поклонами, и казались в сильном смущении.

Кроме того, что я сказал, в прохожих этих двух многочисленных разрядов нет ничего отличительного. Одеты они, что называется, прилично. Между ними есть джентльмены, купцы, комиссионеры, торговцы; люди, спекулирующие на государственные облигации, эвпатриды, которые в обществе встречаются на каждом шагу, люди праздные и люди деятельно занятые собственными делами, которые для них слишком важны, и потому поглощают всю их заботливость. На них внимание мое останавливалось недолго.

Сословие англиканского духовенства легко отличить, но я заметил, что оно разделяется на два замечательные класса. К одному принадлежат младшие лица духовного звания, которые бывают приняты в аристократических домах: платье на них узкое, сапоги широкие, волосы старательно напомажены и рот с вечно-надменной улыбкой. Им недостает только кареты, а с нею эти молодые люди были бы в полном смысле слова *fac-simile* всего того, что считалось хорошим тоном год или полтора года тому назад. Одним словом, это образчики прошлых мод, уже оставленных аристократиею: лучше нельзя охарактеризовать

этот разряд.

Второй класс духовенства резко отличается от первого. Принадлежащие к нему не подражают новым модам, а придерживаются старых. На них, обыкновенно, черное или темно-коричневое платье, довольно просторное, чтобы не стесняло; белые галстуки и жилеты, широкие прочные башмаки и толстые чулки или штиблеты. У всех у них головы с легкой лысиной, и правое ухо, привыкшее постоянно держать за собой перо, немного оттопыривается, в ожидании привычного гостя.

Я заметил, что они снимают и надевают шляпы всегда обеими руками; при них часы на коротких золотых цепочках — старомодных, но имеющих положительную ценность.

Они имеют самый почтенный вид — притворно-почтенный, может быть, но хорошо, что есть хоть и притворный.

Много было личностей, резко выдающихся из толпы, и я скоро понял, что они принадлежали к классу искусных опустошителей карманов, к классу, который всегда бывает очень многочислен в больших городах. На этих людей я смотрел с большим любопытством, и никак не мог понять как настоящие джентельмены могут так непростительно ошибаться и принимать этих плутов за таких же джентельменов, как они сами. Огромность их рукавной обшивки очень

откровенно и наивно изобличает их с первого раза.

Записных игроков, которых было не мало, тоже очень легко было узнать. На них было платье всевозможных покровов и цветов: на одних бархатные жилеты, фантастические галстуки, золотые цепочки, какие-то неслыханные пуговицы; на других, напротив, одежда самая скромная, и все это разнообразие — умышленное, для того, чтобы их трудно было узнавать. Но, сколько они ни хлопотали об этом, все-таки у них оставалось очень много общего. Все они одинаково бледны до желтизны, с тусклыми глазами и с судорожным подергиванием губ. Были у них еще две отличительные черты, по которым узнать их было еще легче: умышленное понижение голоса в разговоре и необыкновенное вытягивание большого пальца, так, чтобы он образовал прямой угол с прочими пальцами. Часто я в этом обществе встречал людей с другими, как будто более утонченными, манерами, но и это были птицы одного полета. Много было денди, которые отличались длинными волосами и презрительной, самодовольной улыбкой.

Много, много предметов было мне для наблюдений. Мелькали жида с блестящими глазами и с лицами, выражающими подлое унижение, отвратительные уличные нищие, самозванцы, нахмуривающие брови при виде

настоящих несчастных, которых одно отчаяние, а не обман, привлекает ночью на улицу, чтобы просить о помощи. Слабые и жалкие инвалиды, на которых была уже видна рука смерти, умоляющим взором смотрели всем в глаза. Их толкали со всех сторон, они чуть держались на ногах, но на все это они не обращали внимания, потому что имели надежду на помощь. Скромные молодые девушки радостно возвращались в родительский дом после долгих дневных трудов; они трепетали пред взорами нахалов и отвечали им слезами, а не презрением. Много было женщин: были красавицы в полном цвете лет, напоминающие, наружностью, статуи из паросского мрамора, внутри не отличающиеся чистотою; омерзительные, совершенно погибшие, отверженные существа в лохмотьях; сморщенная, накрашенная дама в брильянтах, истощающая последние попытки казаться молодою; женщина — ребенок еще, но уже испорченная постоянным примером дурного, уже искусница во всех кокетливых приемах, которые нужны для ее ремесла; она горит от желания стать скорее наравне со старшими в пороке; не ужасно ли? она в этом полагает свое достоинство!.. Идут, шатаясь, пьяницы, ободранные, в заплатах и что-то бормочут про себя; лица у них разбитые, глаза дико блестят; на иных одежда и крепкая еще, но грязная, у всех же вообще толстые губы, выказывающие

чувственность и раскрасневшиеся лица с приторно-любезным выражением. Заметил я также людей с шагом неестественно твердым, бледных, с красными и страшно дикими глазами; занятием этих людей было — ударять дрожащими пальцами по всякому предмету, который попадался им под руку. Шли пирожники, носильщики, поденщики, трубочисты, органщики, фокусники с обезьянами, ободранные уличные музыканты и истощенные земледельцы. Много было оживления и шуму; в ушах слышался невыносимый гул и глаза уставали смотреть. Чем темнее делалось, тем интереснее становилась картина, во-первых, потому, что общий характер толпы изменялся: все хорошее мало-помалу исчезало, потому что было уже поздно, и все порядочные люди отправились домой, а дурное рельефнее прежнего выдавалась на сцену; с каждым лишним часом появлялся в этом вертепе лишний разврат. Во-вторых: лучи газовых фонарей, сначала, борясь со светом умирающего дня, были очень слабы, теперь же они были в полном могуществе и освящали ярко все и всех.

У меня явилось желание всматриваться в каждое лицо; но быстрота, с которою свет мелькал перед окном, мешала наблюдениям, и я не успевал бросать более одного взгляда на каждого человека. Мне, однако, казалось что в странном, особенном расположении духа, в котором я находился в ту

минуту, у меня явилась новая способность — одним взглядом прочитывать на лице человека историю многих лет его жизни.

Прислонясь лбом к стеклу, я продолжал наблюдать за толпой. Вдруг мне представилась личность дряхлого старика, лет шестидесяти пяти или семидесяти; личность, которая привлекла и поглотила все мое внимание своею оригинальностью. Никогда в жизни мне не случилось видеть что-нибудь хотя бы несколько похожее на этого человека. Помню очень хорошо, что при первом же взгляде на него, я подумал: если бы его увидел какой-нибудь гениальный живописец, то, верно, не стал бы искать лучшего образца для изображения воплощенного дьявола. Между тем как я старался анализировать эту личность, в уме моем являлись несвязные и парадоксальные заключения: что на лице этого человека ясно видно умственную силу, осторожность, скупость, холодность, злобу, кровожадность, торжество, веселость, безграничный страх и безнадежное отчаяние. Я был странно взволнован, поражен, околдован. Какая ужасная тайна, сказал я про себя, написана в этой груди! Потом явилось пожирающее желание не потерять этого человека из виду, узнать о нем более. Вмиг я надел плащ, схватил шляпу, трость и выбежал на улицу; там я начал толкаться сквозь

толпу в том направлении, по которому шел незнакомец. Я с трудом отыскал его, наконец, и пошел рядом с ним с большою осторожностью, чтобы не обратить на себя его внимания.

Теперь я мог очень хорошо рассмотреть его. Он был небольшого роста, очень худощав и, казалось, очень слаб. Одежда на нем была грязная и изорванная; при ярком свете одного из газовых фонарей я заметил, что белье на нем, хоть и грязное, но чрезвычайно тонкое; если не ошибся, на нем был бриллиантовый перстень. Плащ его распахнулся так, что я мог заметить бывший при нем кинжал. Все это усилило мое любопытство, и я решился следить всюду за незнакомцем.

Дело шло к ночи; густой сырой туман наполнял воздух. Скоро пошел проливной дождь. Эта перемена погоды, разумеется, имела влияние на толпу: началось новое волнение, и появился целый океан зонтиков. Толкотня и шум увеличились вдесятеро. Обыкновенно я не боялся дождя, но на этот раз, чувствуя еще после болезни лихорадочное состояние, знал, что сырость могла быть для меня очень вредна. Итак, я обвязал себе горло носовым платком и продолжал свой путь. В продолжение часа незнакомец шел вместе с толпою, и я все время шел рядом с ним, боясь потерять его из виду. Он ни разу не обернулся и не заметил меня. Наконец он повернул в другую улицу, где хотя тоже было очень

много народу, но все-таки не столько, как в первой. Тут я заметил перемену в его походке. Он стал идти тише, как бы нерешительнее. Он несколько раз прошел по всей улице, взад и вперед, без всякой видимой цели.

Улица была узка и длинна, и он ходил по ней, между тем как толпа постепенно редела. Потом мы вышли на площадь, великолепно освещенную и полную жизни. Незнакомец опять переменял походку. Его подбородок опускался на грудь, глаза дико блуждали из-под нахмуренных бровей на все стороны. Он шел твердыми шагами. Я был очень удивлен, что он обошел кругом площадь, потом опять и так несколько раз — все время в задумчивости и не принимая ни в чем участия. Так прошел еще час. Дождь все усиливался; воздух становился холоднее, и гуляющие стали отправляться по домам.

Незнакомец сделал нетерпеливый жест и бросился в соседнюю улицу, которая была сравнительно пуста. Она была длиною с четверть мили, и он пробежал ее с такою быстротою, какую редко можно встретить в старике; даже я с трудом мог поспевать за ним. Через несколько минут мы очутились на огромном, шумном рынке; моему незнакомцу эта местность, казалось, была очень хорошо знакома. Он без цели суетился между толпой покупателей и продавцов.

Тут мы провели часа полтора, и мне здесь труднее всего было скрываться от незнакомца. К счастью, на мне были калоши из каучука, и потому шагов моих не было слышно. Он ходил из одной лавки в другую, ни к чему не прицелялся, ничего не говорил и на все предметы смотрел диким, праздным взором. Я окончательно был поставлен в тупик его поведением и утвердился в решимости — не разлучаться с ним, пока не узнаю, что это за человек.

На больших городских часах пробило одиннадцать; все стали уходить с рынка. Один из лавочников, запирая ставень, толкнул старика, и я видел, как по нем пробежала дрожь. Он поспешил в другую улицу, где остановился на минуту и боязливо посмотрел вокруг, а потом бросился бежать с необыкновенной быстротой. Он пробежал несколько пустых, кривых переулков, и мы опять очутились на главной улице, у той самой кофейни, откуда я его увидал в первый раз, с тою только разницею, что теперь нам представилась совершенно другая картина. Газ по прежнему ярко горел, но шел крупный дождь, и народу было очень мало. Незнакомец побледнел. Он несколько раз прошелся по этой улице, а потом с тяжелым вздохом отправился по направлению к реке; через несколько закоулков мы дошли, наконец, до одного из главных театров. Представление кончилось, и

народ толпился у выхода. Старик, задыхаясь, бросился в толпу, и мне показалось, что беспокойство с его лица исчезло. Голова его опять упала на грудь. Он шел за толпой, и я никак не мог понять цели всех его действий.

Мало-помалу народ разбрелся, и беспокойство опять показалось на лице старика. Он несколько времени шел вслед за десятком франтов, но и те понемногу разошлись, остались только трое из них в узком, темном, безлюдном переулке. Незнакомец остановился и с минуту был в недоумении; потом в волнении пошел дальше, и мы добрались до самой отдаленной части города. Это было такое бедное, такое жалкое место, с таким отпечатком отвержения, что становилось страшно тут оставаться. При слабом свете одного несчастного случайного фонаря можно было разглядеть маленькие, старинные деревянные домики, близкие к разрушению. Они все капризно наклонялись в разные стороны, так что едва можно было пройти между ними. Камни от бывшей когда-то мостовой встречались как редкость; на их месте уже выросла густая трава. Канавки были запружены разным сором, так что в атмосфере был очень дурной запах. Вдруг слышались человеческие голоса, и показалось несколько людей, вероятно принадлежащих к самому жалкому, всеми отвергнутому классу. Старик опять оживился, как

лампада, для которой близка минута погаснуть. Он пошел дальше, завернул за угол, мы увидели сильный свет от большого питейного дома.

Это было перед рассветом; несколько жалких пьяниц толпилось у входа. С криком радости старик пробрался в толпу и начал тесниться в ней. Но это было непродолжительно: хозяин стал запирает дверь на ночь. На лице странного существа, за которым я так упорно следил, показалось что-то сильнее отчаяния. Но он все-таки недолго был в нерешимости и с бешеной энергией бросился в шумный центр Лондона. Долго и скоро он бежал, и я в величайшем удивлении следовал за ним: я имел твердое намерение не оставлять своих наблюдений, в которых находил так много поглощающего интереса. Солнце взошло, когда мы вышли опять на главную улицу, где уже начиналась суматоха и деятельность. И здесь я, посреди прибывающей толпы, продолжал преследовать незнакомца. Он по-прежнему ходил взад и вперед, и так он провел целый день на этой улице. Наступили сумерки следующего вечера; я почувствовал окончательное изнурение и, остановясь прямо против старика, пристально посмотрел ему в лицо. Он не замечал меня и продолжал свою таинственную прогулку, я же перестал за ним следить и погрузился в размышления. — Этот старик, сказал я, наконец, про себя: тип величайшего преступника. Он не

может оставаться наедине с самим собою. Он человек толпы. Напрасно я буду его преследовать, — никогда не узнаю ничего ни о нем, ни о его поступках. Найдется в мире сердце, которого тайные грехи составят книгу толще всех нам известных, и может быть, нужно считать за величайшую благодать Божию, что *«er lasst sich nicht lesen»*.

«ЭТО ТЫ!»²

Я намерен сыграть роль Эдипа в рэттльборосской загадке. Я разъясню вам (я один могу сделать это) тайну рэттльборосского чуда, единственного, истинного, признанного, неопровержимого, неопровергаемого чуда, которое положило конец неверию роттльборосцев и обратило к вере старых баб — всех нечестивцев, осмеливавшихся раньше сомневаться. Это происшествие, о котором я не желал бы рассуждать тоном неуместного легкомыслия, случилось летом 18**. Мистер Варнава Шоттльурти, один из самых богатых и уважаемых граждан местечка, в течение нескольких дней не возвращался домой, что возбудило подозрение у друзей и соседей. Мистер Шоттльурти выехал из Рэттльборо рано утром в субботу, верхом, выразив намерение съездить в город, милях в пятнадцати от Рэттльборо, и вернуться в тот же день вечером. Но через два часа после его отъезда лошадь прибежала без хозяина и без сумки, которая была привязана к седлу при отъезде. К тому же животное было ранено и покрыто грязью. Эти обстоятельства, естественно, возбудили переполох среди друзей пропавшего, а

² Thou Art The Man (1844).

когда он не вернулся и в воскресенье, утром весь городок отправился en masse³ отыскивать его тело.

Поисками руководил закадычный друг мистера Шоттлюорти, некий мистер Чарльз Гудфелло, или, как его все называли, «Чарли Гудфелло», он же «старый Чарли Гудфелло». Было ли это чудесное совпадение, или имя человека незаметным образом оказывает влияние на его характер, я не знаю; но факт тот, что это был бесспорно самый откровенный, мужественный, честный, Добродушный и чистосердечный из всех Чарльзов, с сильным, звучным голосом, который приятно было слушать, и с ясными глазами, смотревшими вам прямо в лицо, точно говоря: «Совесть у меня чиста; я никого не боюсь и не способен на дурной поступок».

Хотя старый Чарли Гудфелло поселился в Рэттльборо каких-нибудь полгода тому назад, и никто из местных жителей не знал его раньше, но он быстро перезнакомился с самыми уважаемыми гражданами. Любой из них поверил бы ему на слово, одалживая тысячу долларов; а что до женщин, то трудно себе представить, чем бы они не пожертвовали для него. И все это потому что его окрестили Чарльзом, а результатом этого явилась счастливая наружность, которую пословица

³ Все вместе (фр.).

называет «наилучшим рекомендательным письмом».

Я уже сказал, что мистер Шоттлюорти был один из самых уважаемых, и, без сомнения, самый богатый человек в Рэттлборо а старый Чарли Гудфелло сдружился с ним, точно они были родные братья. Они жили в соседних домах, и, хотя мистер Шоттлюорти почти или даже вовсе не заглядывал к старому Чарли и никогда не обедал у него, это ничуть не мешало их дружбе, поэтому что старый Чарли раза три, четыре в день заходил проведать своего приятеля, часто оставался у него завтракать или пить чай и почти всегда обедать; и сколько при этом опустошалось бутылок, этого и сказать невозможно. Любимым напитком старого Чарли было шато-марго, и, кажется, мистер Шоттлюорти очень утешался, глядя, как его приятель осушает бутылку за бутылкой; однажды, когда вина оставалось мало, а рассудка, естественно, того меньше, он хлопнул Чарли по спине и сказал:

— Ну, Чарли, ты ей-ей, самый славный малый, какого мне только случалось встретить на своем веку, и так как ты, я вижу, охотник лакать вино, то пусть меня повесят, если я не подарю тебе здоровый ящик шато-марго. Съешь меня ржавчина (у мистера Шоттлюорти была привычка уснащать свою речь клятвами, хотя он редко заходил дальше «съешь меня ржавчина» или «лопни моя утроба»),

съешь меня ржавчина, — продолжал он, — если я не пошлю сегодня же за ящиком и не подарю его тебе — да, да, не отнекивайся, подарю, и кончено дело; смотри же, ты получишь его на днях, когда и ожидать не будешь.

Я упоминаю об этом проявлении щедрости мистера Шоттлюорти, собственно, для того, чтобы показать вам, какая глубокая симпатия соединяла, обоих друзей.

Так вот, в воскресенье утром, когда окончательно выяснилось, что мистер Шоттлюорти сделался жертвой какого-нибудь мошенника, старый Чарли Гудфелло был страшно огорчен; я еще не видал человека в таком отчаянии. Услышав, что лошадь вернулась без хозяина и без сумки хозяина, с пулевой раной в груди услышав об этом, он весь побелел, точно убитый был его родной брат или отец, и задрожал, затрясся, словно в лихорадке.

В первую минуту он был слишком подавлен горем, чтобы сообразить что-нибудь и выработать какой-нибудь план действий, потому довольно долго убеждал остальных друзей мистера Шоттлюорти не предпринимать ничего, а подождать неделю — другую, или месяц — другой, в надежде, что за это время дело выяснится само собою, возможно, мистер Шоттлюорти вернется и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь домой. Вам, вероятно, не раз случалось

замечать эту склонность откладывать или мешкать в людях, терзаемых отчаянием. Их душевные способности точно цепенеют, всякая деятельность пугает их, они способны только валяться на постели и «нянчиться со своим горем», как выражаются старые дамы, то есть раздумывать о своей беде.

Обитатели Рэттльборо были такого высокого мнения о мудрости и благоразумии старого Чарли, что большинство согласилось с его советом не двигаться с места и ждать, «пока дело выяснится само собою», как выразился почтенный джентльмен. По всей вероятности, он убедил бы всех, если бы не вмешательство племянника мистера Шоттлюорти, молодого человека, известного своей распушенностью и дурным характером. Этот племянник, носивший фамилию Пеннифитер, доказывал, что тут нечего «сидеть сложа руки», а нужно сейчас же идти отыскивать «тело убитого». Таковы были его подлинные слова; и мистер Гудфелло тут же заметил весьма справедливо, «что это выражение странное, чтобы не сказать больше». Замечание старого Чарли произвело сильное впечатление на толпу, а один из присутствующих даже спросил очень выразительным тоном, «как это молодой мистер Пеннифитер ухитрился так близко ознакомиться со всеми обстоятельствами, относящимися к исчезновению его дяди, что прямо и открыто

утверждает, будто он «убит». Тут присутствующие немного повздорили и обменялись колкостями, в особенности старый Чарли и мистер Пеннифитер. Столкновение между ними не представляло, впрочем, ничего нового, так как они вообще были не в ладах за последние три или четыре месяца, и дело дошло до того, что, однажды, мистер Пеннифитер съездил в ухо и сбил с ног приятеля своего дяди за какую-то его чересчур смелую выходку в доме дяди, где проживал и мистер Пеннифитер. Говорят, будто старый Чарли отнесся к этому оскорблению с примерной сдержанностью и христианским смирением. Он встал, отряхнул платье и не сделал никаких попыток воздать злом за зло, а только пробормотал что-то вроде обещания «расплатиться чистоганом при первом удобном случае» — весьма естественное и законное излияние гнева, впрочем, лишённое всякого значения и, без сомнения, забытое в ту же минуту.

Оставляя в стороне эти побочные обстоятельства, скажем только, что обыватели Рэттльборо, под влиянием мистера Пеннифитера, решили, наконец, начать поиски пропавшего мистера Шоттльурти. Так решили они сначала. Когда все согласились, что необходимо начать поиски, сама собою явилась мысль разойтись по окрестностям, то есть разбиться на группы, чтобы исследовать местность как можно тщательнее. Не

помню, какими остроумными соображениями старый Чарли убедил собрание, что этот план совершенно нелеп. Во всяком случае он убедил всех за исключением мистера Пеннифитера, так что, в конце концов, решено было осмотреть окрестности как можно тщательнее и основательнее, отправиться на поиски всем гуртом, под предводительством самого старого Чарли.

Лучшего предводителя нельзя было и придумать, так как всем было известно, что старый Чарли обладает рысьими глазами; но, хотя он водил свой отряд по всевозможным трющобам и закоулкам, по таким дорогам существования — которых никто и не подозревал до тех пор, и, хотя поиски продолжались целую неделю днем и ночью — однако никаких следов мистера Шоттлюорти не было найдено. Когда я говорю — никаких следов, это не нужно понимать буквально, так как кое-какие следы нашлись. По отпечаткам подков (они имели особую метку) видно было, что злополучный джентльмен проехал три мили на восток от местечка по большой дороге. Здесь он свернул на лесную тропинку. Следя за отпечатками подков, толпа добралась, наконец, до пруда, у которого след прекращался. Заметно было, что тут происходила борьба, и, по-видимому, с тропинки в пруд тащили какое-то тяжелое тело, больших размеров и веса, чем человеческое. Пруд дважды

исследовали шестами, но ничего не нашли, и хотели уже прекратить поиски, когда Провидение внушило мистеру Гудфелло мысль отвести воду из пруда. Этот план был встречен общим одобрением и похвалами остроумию и сообразительности старого Чарли. Многие из граждан запаслись лопатами на случай, если придется отрывать тело; они тотчас же принялись копать канаву, и, как только дно обнажилось, увидели в грязи черный бархатный жилет, в котором почти все присутствующие узнали жилет мистера Пеннифитера. Жилет был изорван и запачкан кровью, и многие из присутствовавших хорошо помнили, что он был на мистере Пеннифитере утром, в день отъезда мистера Шоттльурти; зато другие готовы были показать, если угодно, под присягой, что жилета не было на мистере П. в остальное время того же дня; не нашлось ни единого человека, который видел бы его на мистере П. в какой-либо момент после исчезновения мистера Ш.

Обстоятельства приняли, таким образом, оборот весьма серьезный для мистера Пеннифитера, который к тому же страшно побледнел и на вопрос, что скажет он в свою защиту, не мог выговорить ни слова. Это, разумеется, усилило подозрение, и немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его

развратный образ жизни, тотчас отреклись от него все до единого и еще громче, чем давнишние и заклятые враги, требовали его немедленного ареста. Зато великодушие мистера Гудфелло проявилось в полном блеске, еще усиливавшимся вследствие контраста. Он горячо и с истинным красноречием защищал мистера Пеннифитера, несколько раз намекнув, что прощает буйному молодому джентльмену — «наследнику почтенного мистера Шоттльурти» — оскорбление, которое он (молодой джентльмен), без сомнения, в порыве страсти, нашел уместным нанести ему (мистеру Гудфелло). Прощает от всей души, — говорил он, — и что касается до него (м-ра Гудфелло), то не только он не станет подчеркивать подозрительные обстоятельства, которые, к несчастью, действительно говорят против м-ра Пеннифитера, но сделает все, что от него (м-ра Гудфелло) зависит, употребит все свое слабое красноречие, дабы... дабы... дабы смягчить, насколько позволит совесть, худшие стороны этого крайне запутанного дела.

Мистер Гудфелло добрых полчаса распространялся на эту тему, обнаруживая превосходные качества своего ума и сердца, но пылкие люди редко находят удачные аргументы, — в пылу рвения, стараясь услужить другу, они не могут избежать всякого рода промахов,

contretemps⁴ и mal a propos⁵ — и, таким образом, при самых лучших намерениях нередко ухудшают дело.

Так было и в данном случае с красноречием старого Чарли: хотя он ратовал в пользу подозреваемого, но как-то выходило, что каждое слово его только усиливало подозрения и возбуждало толпу против мистера Пеннифитера.

Одной из самых необъяснимых ошибок оратора было его выражение «наследник почтенного мистера Шоттльюрти», примененное к подозреваемому. Присутствующие вовсе не думали об этом раньше. Они знали, что год или два тому назад покойный, у которого не было родни, кроме племянника, грозил лишить его наследства и воображали, что это дело решенное, — такой простодушный народ рэттльборосцы, но замечание старого Чарли сразу навело их на мысль, что ведь угроза могла остаться только угрозой. Тотчас затем явился естественный вопрос «*сui bono*»? — Вопрос, который еще более, чем находка жилета, послужил к обвинению молодого человека в страшном преступлении. Во избежание недоразумений позвольте мне отвлечься на минуту от моей темы и заметить, что крайне лаконичная и простая

⁴ Помеха (фр.).

⁵ Некстати, невпопад (фр.).

латинская фраза, которую я сейчас употребил, переводится часто совершенно неправильно. Во всех модных романах — у миссис Гор, например, автора «Сесил», цитирующей все языки от халдейского до чиказавского, — во всех модных романах, от Бульвера и Диккенса до Энsworth, два простых латинских слова «*сui bono*» переводятся: «С какою целью?» или «Для чего?». Между тем их истинное значение — «Для чьей выгоды?» «Кому на пользу?» Это чисто юридическая фраза, применяемая именно в таких случаях, как излагаемый нами, когда вероятность того, что данный индивидуум совершил преступление, связана с вероятностью пользы, которую он извлекает из этого преступления. В данном случае вопрос: «*сui bono*?» говорил против мистера Пеннифитера. Дядя, составив завещание в его пользу, угрожал ему лишением наследства. Но угроза не была приведена в исполнение; первоначальное завещание, по-видимому, не было изменено. Если бы оно было изменено, единственным мотивом преступления могла бы явиться месть, но и этот мотив парализовался бы надеждой вернуть расположение дяди. Но раз оно осталось неизменным, а угроза постоянно висела над головой племянника, преступление вполне объяснялось: так весьма остроумно рассудили почтенные обыватели местечка Рэттльборо.

Ввиду этого мистер Пеннифитер был тут же арестован, и после непродолжительных дальнейших поисков толпа повела его в город. На обратном пути явилось новое обстоятельство, подтверждавшее подозрения. Заметили, что мистер Гудфелло, который все время шел впереди толпы, побуждаемый своим рвением, внезапно остановился и поднял с земли какую-то маленькую вещицу. Взглянув на нее, он хотел было спрятать ее в карман, но окружающие заметили это и, разумеется, помешали ему. Найденная им вещь оказалась испанским ножом, в котором многие из присутствующих узнали нож мистера Пеннифитера. К тому же на ручке были выгравированы его инициалы. Лезвие ножа оказалось окровавленным.

Никаких сомнений не оставалось более насчет виновности племянника, и тотчас по возвращении в Рэттльборо он был передан судебному следователю.

После этого дело приняло самый скверный оборот для обвиняемого. На вопрос, где он находился утром, в день отъезда мистера Шоттльурти, мистер Пеннифитер имел дерзость объявить, что в это время он охотился с винтовкой в лесу, в окрестностях того самого пруда, где его окровавленный жилет был найден благодаря остроумию мистера Гудфелло.

Этот последний вскоре явился к следователю и со слезами на глазах просил подвергнуть его допросу. Он объявил, что священное чувство долга перед ближними и Творцом не позволяет ему более хранить молчание. До сих пор искренняя привязанность к молодому человеку (несмотря на оскорбление, нанесенное последним ему, мистеру Гудфелло) побуждала его напрягать все силы ума, дабы объяснить в благоприятную сторону подозрительные обстоятельства, явившиеся такой серьезной уликой против мистера Пеннифитера; но теперь эти обстоятельства слишком убедительны, слишком бесспорны; так что он не станет медлить более и расскажет все, что ему известно, хотя сердце его (мистера Гудфелло) готово разорваться. Затем он сообщил, что вечером, накануне отъезда мистера Шоттльурти, этот почтенный старик объявил племяннику вето (мистера Гудфелло) присутствию о своем намерении съездить завтра в город и отвезти в «банк фермеров и механиков» огромную сумму денег, прибавив при этом, что он твердо решился переделать завещание и не оставить племяннику ни копейки. Он (свидетель) торжественно обращается к обвиняемому и просит его ответить по совести, правду ли говорит он (свидетель) или неправду. К удивлению всех присутствовавших, мистер Пеннифитер ответил, что свидетель говорит правду.

Следователь счел своим долгом поручить двум констеблям произвести обыск в комнате обвиняемого. Они вернулись почти тотчас и принесли с собой знакомый всем кожаный порыжевший бумажник, с которым покойный почти никогда не разлучался. Содержимое бумажника, однако, исчезло, и следователь тщетно старался допытаться у обвиняемого, что он с ним сделал и где припрятал. Тот упрямо отговаривался неведением. Констебли нашли также под тюфяком этого несчастного рубашку и шейный платок с его инициалами, перепачканные кровью жертвы. В это самое время лошадь покойного околела от раны, и мистер Гудфелло предложил немедленно произвести вскрытие и попытаться найти пулю. Так и сделали, и точно для того, чтобы уничтожить последние сомнения насчет обвиняемого, мистер Гудфелло после тщательного исследования груди животного нашел и извлек пулю замечательно большого калибра. Она как раз подошла к винтовке мистера Пеннифитера, а другой винтовки такого же калибра не было ни у кого ни в городе, ни в окрестностях. В довершение всего на пуле оказалась ложбина или впадина, вполне соответствовавшая случайной неровности или бугорку в форме для отливки пуль, принадлежавшей обвиняемому, по его собственному сознанию. После этого следователь

объявил следствие законченным и постановил предать обвиняемого суду, отказавшись наотрез отпустить его на поруки, хотя мистер Гудфелло горячо восставал против такой жестокости и предлагал внести какую угодно сумму. Это великодушие старого Чарли вполне согласовалось с его благородным и рыцарским поведением во все время пребывания в Рэттльборо. В данном случае, этот достойный человек до того увлекся в порыве сострадания, что, предлагая внести какой угодно залог, совершенно упустил из виду свою крайнюю бедность: у него самого (мистера Гудфелло) не было ни гроша. Исход дела нетрудно было предвидеть. Осыпаемый проклятиями всех рэттльборосцев, мистер Пеннифитер был судим в ближайшую сессию, и цепь улик (усиленных еще кое-какими фактами, о которых совесть не позволила умолчать мистеру Гудфелло) — цепь улик оказалась настолько полной и не допускающей сомнений, что присяжные, не вставая с мест, вынесли приговор: «Виновен при отягчающих вину обстоятельствах». Злодей был приговорен к смерти и препровожден в тюрьму, чтобы нам дожидаться исполнения приговора.

Между тем, благородное поведение старого Чарли Гудфелло удвоило его популярность среди честных граждан Рэттльборо. Более чем когда-либо его можно было назвать общим любимцем, и

понятно, что желая отплатить за гостеприимство и радушие, он волей-неволей отказался от своих прежних привычек крайней бережливости, порожденных бедностью, и частенько стал устраивать reunions⁶ у себя в доме, reunions, на которых царили остроумие и веселье, немного омрачавшиеся, конечно, воспоминаниями о жестокой и печальной судьбе, постигшей племянника его сердечного друга.

В один прекрасный день великодушный джентльмен был приятно изумлен, получив следующее письмо:

«Чарльзу Гудфелло, эсквайру,
в Рэттльборо от Г., Ф., В. и Ко.
Шат. Марг. А — № 1. - 6 дюж. бутылок
(1/2 гросса).

Чарльзу Гудфелло, эсквайру.
Милостивый Государь!

Во исполнение заказа, полученного нами два месяца тому назад от нашего уважаемого клиента мистера Варнавы Шоттльуорти, имеем честь препроводить по вашему адресу ящик шато-марго клейма антилопы с фиолетовой печатью.

*С истинным почтением ваши
покорнейшие слуги.*

⁶ Собрания (фр.).

Гогс, Фрогс, Богс и К®. Г. - 21 июля 18..

P. S. Вы получите ящик на другой день по получении этого письма. Просим передать наше почтение м-ру Шоттльурти.

Г., Ф., Б. и Ко».

По смерти мистера Шоттльурти мистер Гудфелло оставил всякую надежду на получение обещанного шато-марго, так что, естественно, усмотрел в этой посылке проявление особой милости Божией. Разумеется, он очень обрадовался этой посылке и в порыве радости пригласил своих друзей на завтра, на *petit souper*⁷, чтобы вместе почать подарок добрейшего старика, мистера Шоттльурти. Он, впрочем, не упоминал о «добрейшем старике» в пригласительных записках. Дело в том, что по здоровом размышлении он решил ничего не говорить об этом. Насколько помнится, он ни в одной записке не говорил, что им получен в подарок ящик шато-марго. Он просто приглашал своих друзей зайти отведать замечательно тонкого вина, которое он выписал два месяца тому назад и должен получить завтра. Я часто недоумевал, почему старый Чарли решил утаить от нас, что вино получено им в подарок от старого друга. Но я никогда не мог объяснить себе этого умолчания,

⁷ Маленький ужин (фр.).

хотя, без сомнения, оно объяснялось какими-нибудь прекрасными и благовидными побуждениями.

Наступило завтра, и в доме мистера Гудфелло собралась многочисленная и почтенная компания. Добрая половина Рэттльборо оказалась здесь, я тоже был среди них, но, к крайнему огорчению хозяина, шато-марго запоздало и явилось только после ужина, весьма роскошного, которому гости отдали должную честь. Как бы то ни было, вино явилось, наконец, в ящике чудовищных размеров, и компания, находившаяся в очень веселом расположении духа, решила единогласно, поставить ящик на стол и вскрыть немедленно.

Сказано — сделано. Я тоже помогал, и мы мигом поставили ящик на стол, среди бутылок и стаканов, из которых многие были при этом разбиты. Старый Чарли, в сильном подпитии, с багровым лицом, уселся с видом комической важности на хозяйское место и, постучав графином о стол, пригласил всех к порядку для «церемонии открытия сокровища».

Мало-помалу порядок восстановился, и как часто бывает в подобных случаях, наступила глубокая и странная тишина. Мне предложили открыть ящик, на что я, разумеется, согласился с величайшим удовольствием. Когда я вставил в щель долото и два раза ударил по нему молотком, крышка внезапно отлетела в сторону, и в ту же

минуту в ящике поднялся и уселся, глядя прямо в лицо хозяину, исковерканный, окровавленный, полуразложившийся труп самого м-ра Шоттльурти. В течение нескольких мгновений он пристально и печально смотрел на м-ра Гудфелло своими мертвыми потухшими глазами, потом медленно, но ясно и отчетливо произнес: «Это ты!» — и повалившись набок, растянулся на столе.

Последовавшая сцена не поддается описанию. Все ринулись к окнам и дверям, сильные и крепкие люди падали в обморок: настолько необычайным было происходящее.

Но едва замолк первый неудержимый крик ужаса, все глаза обратились на мистера Гудфелло. Если я проживу тысячу лет, то все-таки не забуду смертной агонии, отразившейся на его посиневшем лице, так недавно еще багровом от вина и веселья. Несколько минут он сидел окаменев, подобно мраморной статуе, со стеклянными бессмысленными глазами, которые точно обратились внутрь, поглощенные созерцанием его презренной, преступной души. Внезапно они блеснули, как бы возвращаясь к внешнему миру; он вскочил, упал ничком на стол, прикасаясь головой и плечами к телу погибшего и торопливо, страстно рассказал во всех подробностях историю гнусного преступления, за которое мистер Пеннифитер был приговорен к смерти.

Вот сущность его признания. — Он следовал за своей жертвой до пруда; затем выстрелил в лошадь, а всадника уложил прикладом; овладел его бумажником; и, считая лошадь мертвой, с большим трудом перетащил ее в пруд. Тело мистера Шоттльурти он отвез на своей лошади подальше от пруда и спрятал в лесу.

Жилет, нож, бумажник, пулю он сам подбросил куда нужно, чтобы отомстить мистеру Пеннифитеру. Он же подстроил находку испачканного шейного платка и рубашки.

К концу этого ужасного рассказа голос злодея стал звучать глухо и неясно. Высказав все, он встал, пошатнулся и упал — мертвый.

* * *

Способ, которым было исторгнуто это весьма своевременное признание, был крайне прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Гудфелло не нравилось мне и с самого начала казалось подозрительным. Я был свидетелем оскорбления, нанесенного ему Мистером Пеннифитером, и выражение адской злобы, мелькнувшее на его лице, правда, лишь на мгновение, убедило меня, что он исполнит свою угрозу, если только представится случай. Вот почему, я смотрел на поведение старого Чарли совершенно иными Разами, чем

добрые граждане Рэттльборо. Я сразу заметил, что все улики против мистера Пеннифитера явились благодаря этому человеку. Но окончательно раскрыла мне глаза пуля, найденная мистером Гудфелло при вскрытии трупа лошади. Я не забыл, хотя все остальные забыли, что рана была сквозная, что на теле лошади было отверстие, куда вошла пуля, и другое, откуда она вышла. И если она тем не менее была найдена в теле, то, очевидно, была и положена туда тем же лицом, которое ее нашло. Окровавленная рубашка и платок подтверждали мою мысль, так как при ближайшем исследовании кровь оказалась красным вином, всего лишь. Размышляя об этих обстоятельствах, равно как и о неожиданной щедрости и хлебосольстве мистера Гудфелло, я возымел подозрение, очень сильное, хотя и сохраненное мною в тайне.

Тем временем я принялся частным образом разыскивать тело мистера Шоттльурти, но, по весьма понятным основаниям, разыскивал его вовсе не в тех местах, куда мистер Гудфелло водил свой отряд. Спустя несколько дней я наткнулся на пересохший колодец, совершенно скрытый кустарниками, на дне которого оказалось то, что я искал.

Случайно я слышал разговор между двумя собутыльниками, когда мистер Гудфелло выманил у своего приятеля обещание подарить ему ящик

шато-марго. На этом обещании я и основал план своих действий. Я купил крепкую пластинку китового уса, засунул ее в глотку трупа и уложил его в ящик от вина, пригнув тело лицом к ногам так, чтобы и пластинка согнулась вместе с ним. Затем я придавил его крышкой, которую прикрепил гвоздями; понятно что, когда гвозди были вынуты, крышка должна была откинуться, а тело выпрямиться.

Затем я пометил ящик, надписал на нем адрес и, написав письмо от имени виноторговцев, поставщиков убитого, приказал слуге привезти ящик в тележке к дому мистера Гудфелло и явиться по моему сигналу. Что касается слов, произнесенных трупом, то я довольно силен в искусстве чревовещания, на которое и надеялся. Относительно же действия слов я рассчитывал на преступную совесть убийцы. Кажется, больше нечего объяснять. Мистер Пеннифитер был немедленно освобожден, наследовал состояние своего дяди; наученный тяжкими испытаниями, отказался от прежнего беспутства и живет теперь спокойно и счастливо.

Человек системы

*Система — душа тела*⁸.

Поговорка

Я — человек дела, человек порядка. Основа всякого дела есть система. Я считаю самими эксцентричными и попросту дураками тех людей, которые восхваляют метод, но, в сущности, сами не знают о чем говорят. Эти люди, придерживаясь систематического метода, говорят самые несуразные вещи. Конечно, это звучит парадоксально. Систематический метод может быть приложен только по отношению вещей обыденных, но никак не по отношению вещей, из ряду вон выходящих.

Безусловно, мои мысли по этому вопросу не были бы столь ясны и определены, если б не счастливый случай, который произошел со мной в детстве.

Добрая старая няня, ирландка по происхождению, которой я не забуду в своем завещании, однажды рассердилась, выругала меня, схватила за ноги и ударила головой о железную кровать. Это обстоятельство решило мою судьбу и

⁸ Очевидная опечатка в источнике: в оригинале *Method is the soul of business* (Система — душа дела) (Прим. ред.).

принесло мне несомненную пользу. На голове немедленно выросла шишка, которую я по всей справедливости и смело могу назвать шишкой системы. Вот чем можно объяснить мою исключительную страсть к порядку и системе, — страсть, сделавшую меня необыкновенно деловым человеком.

Всего более на свете я ненавижу гениальных людей. Я утверждаю, что все гении были ослами, — и чем гениальнее человек, тем он глупее. Это правило исключительно в том отношении, что оно не допускает никаких исключений. Из гения так же трудно сделать делового человека, как получить деньги от еврея, или же орехи от соснового дерева. Гениальные люди отличаются тем, что всего больше на свете любят фантастические предприятия и, очертя голову, бросаются в самые рискованные спекуляции. Конечно, таких людей всегда можно определить по их делам. Стоит вам заметить, что кто-либо из ваших знакомых выражает склонность сделаться купцом или фабрикантом, заняться разведением табаку или хлопка, претендует на звание комиссионера по мануфактурным товарам, или же адвоката, кузнеца, доктора, — словом, метит на какое-нибудь необыкновенное звание, вы тотчас же можете определить, что он гений, и, на основании законов тройного правила, вывести, что он осел.

Я, безусловно, не гениальный человек, ибо я — деловой человек. Стоит только заглянуть в мои записные книги, чтобы убедиться в этом. Книги эти находятся в безукоризненном порядке, потому что, в смысле аккуратности и точности, со мной могут поспорить разве лишь часы. Всего лучше то, что мои занятия удивительно соответствуют нуждам и привычкам окружающих меня. В этом отношении я ровно ничем не обязан своим родителям, которые, без всякого сомнения, сделали б из меня гениального человека, если бы не пришел на помощь мой ангел-хранитель. В биографиях и особенно автобиографиях, необходимо держаться строгого и правдивого изложения фактов; я так и делаю, но не могу избавиться от опасения, что мне не поверят, если я скажу, что 15 лет от роду меня отдали в железную лавку, к человеку, который «гениально вел свои дела». Глупости! Результаты этого необдуманного шага моих родителей выяснились через 2–3 дня, когда я, близкий к беспамятству, с невыносимой болью в темени, то есть, в том месте, где находилась шишка порядка, вернулся под родительский кров. Положение мое было отчаянное; я пролежал шесть недель; был на волоске от смерти и т. д., и т. д. Я не перестаю благодарить судьбу за то, что она избавила меня от необходимости сделать карьеру торговца, «гениально ведущего свои дела», одновременно

выражаю горячую признательность своей шишке, избавившей меня от непоправимого несчастья, равно как и женщине, наградившей меня этой шишкой.

Большинство мальчиков оставляют родительский дом 10–12 лет от роду, — я оставался дома до 16 лет. Вполне возможно, что я оставался бы и дольше, если бы не подслушал разговора матери о том, что меня необходимо отдать в зеленую лавку. Судьба моя была решена. В зеленую лавку! — ни за что! Я решил бежать, найти приличное занятие и тем раз навсегда избавиться себя от капризов родителей и трагической возможности попасть в ряды гениев.

Задуманный план удался мне сверх меры и к 18-му году я, в качестве ходячей рекламы портного, зарабатывал очень много денег. Обязанности мои были чрезвычайно трудны и ответственны, но они были в большей степени облегчены моей давнишней любовью и привычкой к порядку. Во всех своих делах и поступках я придерживался строгой системы, и насчет себя смело могу сказать, что не деньги, а метод создают человека.

Неизменно в 9 часов утра я являлся в магазин за костюмом и в 10 часов уже гулял в нем на более людных и оживленных улицах. Знатоки дела неизменно восхищались изяществом и красотой моих движений, которые позволяли любоваться

всеми частями моего костюма. Неизменно к полудню я приводил покупателя к мистерам Кэт и Кемаген. Рассказываю об этом с гордостью, но и с огорчением в душе, ибо фирма за мои труды оплатила мне самой черной неблагодарностью. Полагаю, что человеку, знакомому с делом, не покажется чрезмерным тот счет, который я представил фирме и из-за которого лишился места. Предлагаю этот счет любезному вниманию знатоков дела:

«Питеру Профиту, — человеку-рекламе»
от торгового дома «Кэт и Кемаген»
причитается:

Июля 10: за прогулку по городу и привод
покупателя... фунт. 00-25

Июля 11: тоже...» 25

Июля 12: за ложь II разряда: выдал
испорченное черное сукно за зе леное... фунт.
00-25

Июля 13: за ложь I разряда: выдал сатин
за черное сукно...» 75

Июля 20: за новый бумажный
воротник...» 2

Августа 15: за прогулку в длинном
сюртуке на вате (при 76° в тени)...» 25

Августа 16: за то, что стоял на одной ноге
в продолжение трех часов (с намерением
показать новые штаны со штрипками),

считая по 12 и 1/2. цент. за каждый час...» 37 и 1/2.

Августа 17: за прогулку и привод толстого заказчика...» 50

Августа 18: за прогулку и привод заказчика средн. разм...» 25

Августа 19: за прогулку и привод низкорослого заказчика...» 6

Итого... 2 ф. 96 1/2 цент.

Спор главным образом возник из-за 2 пенсов, уплаченных за бумажный воротник. Заверяю своим честным словом, что за такой воротник 2 пенса недорого. Смею думать, что чистенький, новый воротник придал мне самый нарядный вид, благодаря чему мне удалось завербовать последних 3 заказчиков. Фирма, утверждая, что из обыкновенного листа бумаги можно сделать три таких воротника, предлагала мне 1 пенс, от которого я, по чисто принципиальным соображениям, отказался. Всякое дело требует к себе священного отношения, — иначе оно не дело. Лишая меня 1 пенса, фирма допустила лишь грабеж, причем не проявила никакого систематического начала. Я немедленно оставил службу в торговом доме «Кэт и Кемаген», и занялся другим, не менее доходным делом.

И в данном случае, незаменимые услуги

оказали мне принципы честности, экономичности и системы. В самом непродолжительном времени я стал не только зарабатывать большие деньги, но и пользоваться значительной известностью. Признаться, не любя по природе своей крупных дел, я и теперь не занимался ими. Я уверен, что и поныне продолжал бы свои занятия, если б не помешал несчастный случай, столь частый в моей новой профессии.

Всем известно, что раз богатый старик или молодой расточительный человек, недавно получивший наследство, — или же какое-нибудь обанкротившееся общество вздумает возвести палаццо, то помешать им никто не сумеет. Вот эта аксиома послужила основой моей новой профессии. Мы, деловые люди, неизменно находящиеся в курсе дела, заранее узнаем о таком грандиозном проекте и приобретаем участок земли, непосредственно соприкасающийся с тем участком, на котором будет воздвигнуто грандиозное здание. Мы терпеливо выжидаем, пока дворец выстроен до половины, уславливаемся с одним из гениальных архитекторов, который воздвигает какое-нибудь фантастическое здание в эскимосском или готтентотском стиле, или просто свиной хлев. Вполне понятно, что свое сооружение мы согласны снести лишь в том случае, если получим в 5 раз более затраченного капитала. Ведь, так? С этим

вопросом я обращаюсь исключительно к деловым людям.

Было бы безумно и смешно предполагать иначе. И, тем не менее, нашлись люди, которые стали спорить со мной. Мое предложение они нашли неприемлемым, и я отомстил им тем, что ночью вымазал сажей стены их дворца. За это был судим и заключен в тюрьму. После того, как был выпущен на свободу, я убедился в том, что все товарищи по профессии отказались от каких-либо дел со мной. Новая профессия, которую я избрал, слишком не соответствовала моему слабому здоровью, но, тем не менее, придерживаясь своей системы, я работал изо всех сил. Благодаря этому, мне удалось занять довольно видное положение. Полагаю, что немногие из моих товарищей по профессии могли бы похвастать таким прекрасным положением дел. Нахожу всего удобнее выписать еще одну страничку из моих книг, что избавит меня от неприятной обязанности расхваливать самого себя. Всем ясно, что записная книжка — лгать не может.

«Января 1-го. Новый год. Встретил сегодня на улице выпившего Снапа. Не забыть: он пригодится. Вслед за ним встретил Грэффа, — пьян, как стелька. Не забыть: пригодится. Внес имена этих господ в свою

книгу и открыл им кредит.

Января 2-го. Встретил Снапа на бирже и наступил ему на мозоль; он ударил меня кулаком и сбил с ног. Не забыть: прекрасно! Встал. Хочу требовать удовлетворения в сумме 1.000 долларов. Препятствия со стороны адвоката Бага, который утверждает, что за такой незначительный удар более 500 получить нельзя. Не забыть: у адвоката Бага нет системы; надо от него избавиться.

Января 3-го. Отправился в театр в надежде найти Грэффа. Нашел. Увидел его в ложе бельэтажа между полной дамой и худой дамой. Смотрел в бинокль на полную даму до тех пор, пока она не рассердилась и не стала шептаться с Грэффом. После того я бесцеремонно и без приглашения вошел в ложу и подставил нос под руку Грэффа, который, однако, не хотел нанести мне оскорбление. Высморкался и опять подставил нос... Напрасно! Тогда я сел на стул и начал строить глазки худой даме, что продолжалось до тех пор, пока вывел все-таки Грэффа из терпения, и он схватил меня за шиворот и бросил в партер. Результаты блестящие: вывих шеи и правой ноги. Вернулся домой в восторженном состоянии духа. Выпил целую бутылку шампанского и внес в счет Грэффа 5.000 долларов. Баг говорит, что я могу предъявить иск на такую сумму.

Февраля 15-го. Компромисс со Снапом дал мне чистого дохода 50 центов.

Февраля 16-го. Мерзавец Грэфф выиграл дело и на радостях подарил мне 5 долларов. Судебные издержки выражаются суммой в 4 доллара 25 центов. Чистого дохода: 75 центов».

Как видите, в короткий срок от двух только клиентов, Снапа и Грэффа, я получил чистого дохода 1 доллар 25 центов. А между тем, я чисто наугад открыл свою счетную книгу.

Народная поговорка гласит: здоровье лучше денег. Увы! Мне пришлось убедиться в этом и установить, что условия новой профессии слишком не соответствует моему слабому здоровью. От побоев и неприятностей я изменился до того, что меня перестали узнавать знакомые; в виду этого, я решил переменить профессию и занялся делом, которое в продолжение нескольких лет давало мне вполне солидные доходы.

Частые неудачи в этом деле, главным образом, объясняются большим количеством конкурентов. Каждый и всякий, не обладающий достаточным талантом для того, чтобы сделаться человеком-рекламой или заняться постройкой домов, мозолящих глаза, или извлекать доход из нанесенных ему оскорблений, тотчас же принимается за профессию «обрызгивания грязью».

Ошибочно было бы думать, что это занятие не требует большого ума. В первое время я работал не от себя, а по поручению артели, но, тем не менее, работал, строго придерживаясь обычной системы. Прежде всего, я преследовал удобный момент и, лишь найдя его, приступал к исполнению своих обязанностей. Кроме того, я старался останавливаться, по возможности, ближе к лужам.

Таким образом, мне удалось в самое непродолжительное время приобрести полное доверие артели, — что было далеко немаловажным делом.

Никому не удавалось пройти мимо меня, не запачкав брюк и не уплатив мне за чистку. Ценя мой деловитый характер, главари артели не пытались обманывать меня при расчетах, чему я был очень рад, так как всего больше на свете ненавижу обман и надувательство. Обмануть себя — никогда и никому не позволил бы!

Мне удалось очень недурно устроиться, когда я вдруг вздумал обзавестись собакой для «обрызгивания грязью». При этих новых обстоятельствах моя профессия значительно потеряла в ценности и значении.

Нечего говорить о том, что я выбрал наиболее богатый квартал и обзавелся наилучшими принадлежностями для чистки сапог и брюк. Кроме того, я приобрел толстую собаку, которая

прекрасно знала свое дело. Функции наши были распределены следующим образом: «Помпей», вывалявшись в грязной луже, в ожидании франта в блестящих сапогах, помещался у самых дверей магазина или дома. Едва только «жертва» выходила, Помпей приближался к ней и очень доверчиво и заискивающе терся об ее обувь. Предварительная работа длилась не более минуты, а обеспечивала доход не менее, чем в 6 пенсов. Доход этот, вполне удовлетворяя меня, не удовлетворял, однако, собаки, которая отличалась удивительной жадностью. Я отчислял ей треть доходов, но она запротестовала и потребовала половину, каковое обстоятельство и послужило причиной нашей размолвки и разлуки.

После того я на короткое время сделался шарманщиком. Работа несложная и не требующая каких-либо особых талантов. Шарманку можно приобрести весьма дешево, почти что задаром, и несколькими ударами молотом по механизму привести ее в должное, исправное состояние. Исправив шарманку, вам остается только взвалить ее на плечи и выйти на улицу. Выбрав подходящее место, вы останавливаетесь и начинаете вертеть ручку шарманки. Можете не сомневаться, что, спустя самое короткое время, откроется какое-нибудь окно, из которого вам бросят несколько пенсов и попросят удалиться

подобру-поздорову. Знаю, что многие шарманщики идут на подобный компромисс, — я же никогда: меньше шиллинга я не принимаю.

Несмотря на солидные достоинства этой профессии, я в скором времени променял ее на профессию «фальшивого почтальона».

Мои новые обязанности не заключали в себе ничего сложного, и представлялись (приблизительно) в следующем виде: ежедневно, по утрам я изготовлял множество поддельных писем, содержащих несколько таинственных и загадочных слов и подписанных либо «Бобом Добсоном», либо «Бобби Томпкинсом». На конверты я наклеивал уже бывшие в употреблении или фальшивые марки таких дальних стран, как Бенгалия, Бетани и т. д., — после чего с самым серьезным и деловитым видом отправлялся «на работу».

Я заходил в очень богатые дома, сдавал письма, получал следуемое вознаграждение и исчезал из виду раньше, чем «адресат» распечатывал письмо. Но и в этом деле были свои неприятные стороны; мне приходилось делать громадные концы и часто менять районы действий. Кроме того, меня мучили угрызения совести. Тома Добсона и Бобби Томпкинса совершенно не поняли в городе и ругали их на чем свет стоит. Виновным я себя не считал, сносить оскорбления и ругань не хотел, — и бросил профессию «фальшивого

почтальона».

Напоследок я занялся разведением кошек. После долгих размышлений я пришел к безусловному выводу, что это самое прибыльное и простое дело. Очень часто приходится слышать о чрезмерном количестве кошек в стране. Неоднократно в соответствующем духе и в надлежащие инстанции поступали жалобы и петиции, которые собирали громадное количество подписей.

Законодательная палата проявила должное внимание и в интересах граждан издала целый ряд указов «о кошках». В первой редакции некоторых указов было заявлено, что за каждую кошачью голову будет выдаваться по четыре пенса, но последняя инстанция в лице сената целесообразно заменило слово «голова» словом «хвост». Поправка была принята единогласно.

Едва только указ был опубликован и вошел в силу, я немедленно приобрел множество котов и кошек, на каковой предмет потратил все свои деньги.

Первое время, соблюдая экономию, я кормил своих воспитанников исключительно мышами, но коты и кошки, исполняя заветы св. Писания, расплодились в таком количестве, что я счел себя в средствах кормить их устрицами и черепахами.

Благодаря маслу «макассар», мне удается

отрачивать тройное количество кошачьих хвостов, кои по цене «4 пенса за штуку» приносят мне до того солидный доход, что я самым серьезным образом озабочен вопросом о приобретении дачи на берегу р. Гудсон.